

Сидевший на крыльчке Алёшка потёр воспалённые глаза и поёжился, поправляя старую куртку. Казалось, солнце пригревает, а потянет ветерок — сразу знобит. Что ни говори, осень на дворе. Он вздохнул. Вот уж который день не спит. Вроде закроешь глаза, а сон не идёт. Всё бабу Шуру вспоминает.

Когда родители померли, баба Шура забрала Алёшку к себе. Одна жила — дед Василий её давно пропал. Вышел как-то на двор и исчез. Долго искали, но не нашли. Разное говорили в деревне: будто он с нечистой водится, но чаще дурачком называли. А баба Шура никого не слушала и Алёшке не велела. Говорила, что дед Василий хорошим мужиком был. Пусть у него мозги набекрень и со своей чудишкой, но все люди такие же, как дед, — ничем не лучше, а может, и похуже, но скрывают это. Всё обещала Алёшке, когда тот вырастет, рассказать про деда.

Алёшка остался жить с бабой Шурой.

В школе слабенько учился. Бог ума не дал, как соседи говорили. Учителя махнули рукой: что толку тратить на него время, если ветер в голове гуляет: в одно ухо влетает, а из другого со свистом выскакивает, сидит на уроках и ворон в небе считает.

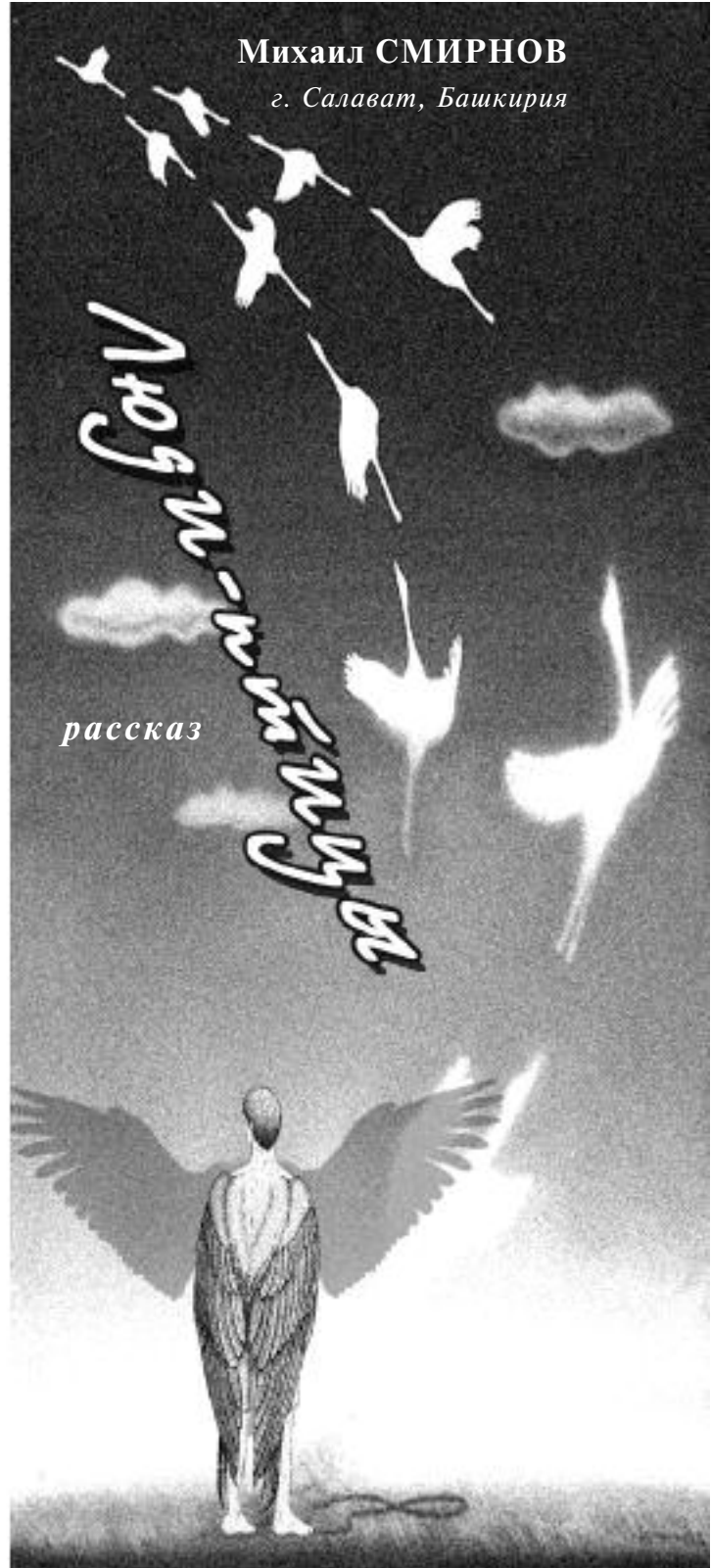
А бывало, по осени, когда птицы собирались в стаи, Алёшка выскакивал из школы и начинал кружить по двору, словно взлететь пытался. Девчонки смеялись и дураком обзывали, а мальчишки нередко лупили, а тот не обижался. Он смотрел на всех и улыбался — широко и радостно. Учителя головой качали: мол, намучается бабка Шурка с внуком-то, а когда её не станет, совсем пропадёт паренёк, — советовали, чтобы сдала его в детдом или в специальный интернат, где такие же живут, как он, а то и похуже — убогие, одним словом. А баба Шура хмурилась, начинала грозить всеми земными и небесными карами за то, что живого человека хотят на погибель отправить. Говорила, что костями ляжет, но не отдаст родного внука. Пусть мозги набекрень, как у деда Василия, но он же человек — это главное! Как же можно взять и своими руками родную кровиноч-

Михаил СМИРНОВ

г. Салават, Башкирия

Нужно-м бабу Шура

рассказ



ку в интернат отдать? Грозила советчикам скрюченным пальцем...

И всё же свозила баба Шура внука в район-центр, врачам показала. Может, таблетки или микстуру выпишут, чтобы умишка прибавилось. Всего бы капельку, а больше и не нужно! Жалко внука — к жизни не приспособлен. Врачи руками развели. Если своего ума нет, чужого не добавишь. Хворобу в башке нашли. Какое-то наследство передалось, как баба Шура всем говорила, а потом сама и смеялась: богатым будет внук-то, — и справки показывала, а что там понаписали врачи — чёрт ногу сломает. Махнёт рукой баба Шура и мелко хохотнёт, прикрывая беззубый рот уголком косынки.

А потом пристроила Алёшку в мастерские. Пусть полы подметает да всякие железяки таскает — лучше, чем сиднем сидеть дома. Когда посевная или уборочная, каждая пара рук на вес золота, даже убогонького. Глядишь, домой копейчку заработает — какая-никакая, а помощь.

В мастерских Алёшке нравилось, особенно когда разрешали в кабине машин посидеть, — от уж радовался. Потому и пропадал там с утра до вечера. А придёт с работы, усядется за стол, а сам носом клюёт. Не успеет улечься — уже засопел.

И почти всегда один и тот же сон: будто баба Шура стоит возле калитки и ладошкой машет ему, словно подзывает, чтобы поторопился, а сама улыбается и вся светлая-светлая. Родители не снились ни разу, потому что не помнил их, — так, какие-то образы мелькали, и всё. И деда Василия не видел — только на фотографии. А баба Шура всегда во сне приходила. Наверное, успевала соскучиться за день. Она жалела Алёшку, всё расстраивалась, как он будет жить с птичьими мозгами, если ни к чему не приспособлен. И дождалась баба Шура, что старшая дочка придет: надеялась, Алёшку к себе заберёт. Не дождалась. Померла. Тихо ушла, незаметно...

Осень на дворе. Пусть солнце не такое яркое и тёплое, а всё же согревает, но ветер прохладный. Осень, ничего не поделаешь...

Вон дедка Ефим выбрался из дома, чтобы с бабой Шурой попрощаться, в последний путь проводить. Не на крыльце устроился, а на лавочку подался, под солнышком посидеть, старые кости погреть. Дед Ефим в зимнем пальто с потёртым, облезшим воротником, в шапке, очки на кончик крупного носа сползли, а не поправляет. Видать, пригрелся и уснул, притулившись к забору. Сидит старик, посыпыхивает...

Алёшка вздохнул и, приложив ладонь к глазам, всмотрелся вдаль. Там желтел густой лес, а опушка покрылась пятнами: где-то зелёные мелькают, в других местах пожухлая трава — там чернью отдаёт.

Издали донёсся птичий гомон. Алёшка задрал голову, взглянул вверх и не удержался — вскочил, завертелся на одном месте, размахивая руками, словно крыльями, а сам засвистел, будто с птицами разговаривает, и так тоскливо, так больно, словно жаловался, что баба Шура померла, что один остался... Птицы закружились над головой, загомонили, точно за собой звали, а потом скрылись за лесом. Следом за ними потянулась огромная стая. Вон полнеба закрыли. Гомонят и гомонят...

Обычно в осенние дни Алёшка места себе не находил: как закружат птицы над головой, и тут же словно душу его кто в кулак сжимает. Непонятная тревога охватывала Алёшку, тоскливо становилось, неприкаянно, но в то же время — необъяснимый восторг, и ему хотелось разбежаться, вытянувшись в струнку, взмахнуть руками, закричать громко так, протяжно, — и, взлетев над деревней, умчаться вслед за птицами...

— ...Алёшка, ну-ка, прекрати! — крикнула баба Шура и нахмурилась, когда впервые заметила, что он, раскинув руки, мечется на краю высокого обрыва, а над головой его — стая птиц. — Отойди от края. Упадёшь. Костей не соберёшь. Уйди, пока не отлупила! Весь в деда уродился. Таким же был — мозги набекрень. Узнала про это, да поздно. Замуж выдали, а потом сказали, будто у моего Васьки с головой не в порядке. Вся деревня поте-

шалась, когда он в птицу превращался, — и опять закричала, намахнувшись тряпкой на Алёшку: — Ну-ка, хватит кружиться, живо по заднице надаю. И вы все — кыш, кыш отсюда! Ишь, разлетались! Мало, один пропал, так ещё и внука за собой ташите. Летите отсюда, летите, — и тут же повернулась к нему: — Твой дед Василий начинал чудить, когда осень наступала и птицы в стаи собирались. Он следом за ними рвался. Говорил, что душа мается, места не может найти. Встанет посередь улицы, задерёт башку и смотрит в небо, где птицы кружат, а сам вхохчет, вскрикивает, словно с ними разговаривает. И птицы ниже опускались, тоже криком исходили. Столько было, что белый свет застилала. А твой дед Василий раскинет руки в стороны и начинает кружиться и хлопает себя по бокам, — хлопает, словно крыльями. А потом взмахнёт руками, тоненько вскрикнет, словно прощается с ними, и птицы выше поднимались, ещё кружочек делали над двором и улетали. Дед тогда усядется посередь дороги и с тоской глядит вслед. И так до следующей стаи. И так, пока последние птицы не улетят... А потом дед Василий пропал. Вышел на двор. Всё на крыльечке курил и прислушивался, как птицы летели. Я выглянула — он кружится по улице, руками машет. Позвала, а он не слышит, на небо смотрит, и отовсюду птицы кричали, словно за собой звали. И так мне тоскливо стало на душе, аж в груди защемило. Вышла на двор, гляжу, на крыльечке папироски лежат, спички, а деда Василия нет. Думала, может, к кому-нить подался. Всё ждала, что вернётся, ан нет, так и пропал, и до сей поры не могут найти. Может, птицы забрали с собой, а может, рассудок потерял, теперь лежит в какой-нить больнице с решётками и даже имени своего не помнит. Никто не знает, где он, и я тоже... — и баба Шура посмотрела на тёмное небо...

Алёшка поднялся, потоптался на крыльечке и с неохотой зашлёпал в избу. Сегодня снесли на мазарки<sup>1</sup> бабу Шуру. Она лежала в избе, как принято, три дня. Каждый раз, когда свечи догорали, кто-то из старушек, сидевших возле

гробика, неслышно поднимался и менял, зажигая новые, и опять присаживался на лавку, горестно покачивая головой.

Это дядька Кондратий смастерил гробик. Небольшой, лёгонький, как сама бабка Шура. Алёшка хотел помочь ему, но дядька Кондратий прогнал. Велел возле двора сидеть и никуда не уходить.

Соседки приходили, обмыли, переодели в смертную одёжку, какую Алёшка вытащил из старого сундука, — это давным-давно бабка Шура показала и велела, ежели она преставится, отдать соседям, а те разберутся, что к чему. Так и получилось...

Бабка Шура тихо, неприметно прожила свою жизнь. И ушла так же тихо. Правда, последние дни твердила: мол, как же Алёшка останется один. Он же не знает эту жизнь, и она у него своя — в его жизни чужим не место. Ему легче с птицами разговаривать, чем с людьми. Люди что — прогонят и посмеются над убогоньким. А помри баба Шура — и Алёшка пропадёт без неё, как когда-то исчез дед Василий. Вон уже птицы кружат над двором — его высматривают. Как бы с собой не забрали! Баба Шура всё понимала — расстраивалась, тыча пальцем в потолок.

В последний день, ближе к вечеру, всё возле Алёшки ходила и печалилась, что один останется на белом свете, норовила дотронуться до него, по плечу или голове погладить, а он отдёргивался и хмурился. Не нравилось: словно маленького гладит, а он же большой.

За окном темно было, когда они собрались спать. Бабка Шура долго сидела на кровати, глядела на него, что-то шептала, а может, молилась, потом перекрестила его, спящего, и задёрнула занавеску.

Алёшка проснулся утром, в доме — тишина, лишь ходики отсчитывали секунды и запоздалая муха сонно колотилась в окне, наконец и она притихла. Он поднялся с постели, вышел на улицу, постоял на крыльце. Не слышно бабки Шуры, зато птицы кружились над двором. Пикировали на Алёшку и опять взмывали, потом другие так же и снова —

<sup>1</sup> Мазарки - кладбище.

ввысь, а сами криком исходили, словно что-то рассказывали.

Алёшка встрепенулся, опять появился какой-то непонятный восторг. Хотелось спуститься во двор, взмахнуть руками, словно крыльями, закричать протяжно и... И следом навалилась тоска, словно к земле придавила — аж дышать тяжело. Алёшка оглянулся. Куры бросились к нему, думали, корму насыплет, а он нахмурился, опять взглянул на небо, махнул рукой птицам, чтобы прочь летели, и скрылся в избе.

Зашёл в горницу. Сдвинул занавеску, за которой стояла кровать бабы Шуры, и уселся рядом на табуретку. Казалось, баба Шура спит. Морщинистые руки на груди сложены, а лицо какое-то светлое и спокойное, по щеке муха ползёт. Алёшка посидел возле кровати, несколько раз окликнул бабу Шуру, потом дотронулся до руки и отдернул. Холодная она — рука-то...

— Баб, вставай, баб, — забубнил Алёшка и снова тронул. — Почему лежишь, а? Дай хлеба...

Но баба Шура не шевелилась.

Алёшка опять завздохал, закрутил лохматой башкой, не зная, что делать, подтянул одеяло, прикрывая бабу Шуру, опасливо прикоснулся к её руке и опять отдернул ладонь, потом поднялся и поплёлся к соседке, к тётке Зине, которая частенько его подкармливала — то яблочко совала, то пряник.

— Это... Теть... — он сунулся в дверь и затоптался возле порога. — Это... Бабака лежит, не встаёт. Я кушать хочу, — и замолчал.

— Как не встаёт? Давно утро, а она... Да неужели померла, — тётка Зина заметалась по избе. — Я ж вчера с ней говорила. Она всё за тебя тревожилась да старшую дочку ругала, что не приезжает, а потом взяла молочка, сказала, что кашку потомит в печи, и ушла. Как же так, а? — и, прижимая руки ко рту, опять качнула головой.

— Она лежит, — пожимая плечами, повторил Алёшка. — Я проснулся. Подошёл, а она лежит. Холодная. Одеялку поправил. Бабака замёрзла, — сказал и зябко передёрнул плечами.

— Ой, божечка, беда пришла, — запричитала

тётка Зина, рот платком прикрыла и закачала головой, а потом вздрогнула от окрика и засуетилась, повернулась к мужу, который сидел за столом: — Петь, а, Петька, накорми паренька. Чать маковой росинки во рту не было. Налей вчерашних щец. Вкусные — страсть! — она причмокнула, закачала головой, потом подтолкнула Алёшку к столу, а сама подалась к дверям. — Петька, обойди мужиков. Пусть могилку копают. Проследи за ними. Я в правление сбегая, начальству сообщу, потом бабок покличу и за монашкой зайду. А ты, Алёшка, когда покушаешь, посиди на лавке. Не входи в избу-то, не путайся под ногами — не мужицкое дело покойницей заниматься. Сами управимся, а тебя покличем, когда понадобится, — сказала и умчалась, хлопнув дверью.

Алёшка изредка подходил к двери, стоял на веранде, прислушиваясь к тихим голосам, но войти не решался. Тётка Зина ругать начнёт, ежели заметит.

Заскрипела дверь. Вышел из дома бабы Шуры дядька Кондратий. Сунул в карман складной метр. Постоял, задумавшись. Потом коряво написал цифры на клочке бумаги, посмотрел на Алёшку, хотел было что-то сказать, но махнул рукой и, надвинув фуражку на глаза, заторопился со двора.

Алёшка подался было в дом, да вернулся — прогнали его. Постоял во дворе, глядя, как дядька Кондратий хромает, подтягивая ногу с протезом, и размахивает руками, если случилось оступиться. Взглянул Алёшка на занавешенные окна, уселся на лавку возле забора и стал ждать, когда его позовут. Поглядывая по сторонам, смотрел на старух, которые заходили в избу, а некоторые так и норовили погладить по голове, как делала баба Шура, но Алёшка отдёргивал голову и хмурился. Не любил, когда его гладили, как маленького. Старухи уходили, а он продолжал сидеть.

Услышав гомон птичьей стаи, Алёшка с тоской посматривал на птиц. Поднимался и, размахивая руками, начинал кружиться на траве, подзывая их криками, — будто рассказывал им, что произошло. Птицы метались над головой, звали за собой, а Алёшке хотелось разбежаться, взмахнуть руками и полететь вслед за ними. Он



бы полетел, да нельзя. Как же бабу Шуру оставит одну-одинёшеньку? Алёшка встрепенулся и опять посмотрел на птиц. Баба Шура говорила, что птицы — это души людские, ругала внука, что с ними разговаривает, прочь гнала, а сама-то и вслед ушла. Видать, правду говорила бабака, что души людские — это птицы...

— ...Врёшь ты, бабака, что птицы — это души, — как-то раз отмахнулся Алёшка, когда она опять на него ворчала за то, что кружился на краю высокого обрыва. — Птички маленькие, а люди вон какие большие. Обманываешь... — сказал и тут же получил подзатыльник.

— Нельзя так говорить, ежели не знаешь, — баба Шура погрозила пальцем. — Ишь, умник-полоумник выискался! Мне ещё отец твоего деда Василия говорил, что души переселяются в птиц. Ага... Вот каким был человек в жизни, его душа в такую же птицу перебирается. И не спорь со мной, Алёшка, потому что умишка в тебе кот наплакал! Вот, к примеру, взять плохого человека. Как ты думаешь, в какую птицу попадёт его душа, а? — и бабка, подбоченясь, взглянула на Алёшку, который сидел и молчал. — Правильно думаешь — в плохую птицу. Если человек обманывал в жизни, воровал и на других вину перекаладывал за дела содеянные, его душа окажется у кукушки или в сороку-воровку переселится. Что смеёшься-то, злыдень! — и она опять намахнулась. — У чёрного человека, душегуба какого, душа попадёт в ворону-падальщицу и будет до скончания веков дохлятиной всякой питаться. Ага... А ежели светлый человек был или, не дай бог, ребёночек помер — а у них-то души всегда чистые! — значит, тому дорога к светлой птице.

— Ага... — недоверчиво протянул Алёшка. — А куда дядька Еремей попадёт, который всё стучит и стучит большим молотком. Аж страшно становится, когда к нему заглянешь. Как же он в птицу залезет? — он засмеялся, плечики затряслись, потом затих, задумавшись, и опять сказал: — А наша деревня тоже в птичек заберётся? А куда всякие артисты переселятся, которых по телеку показывают, а? — Алёшка опять засмеялся, прыгал с пятого на десятое, задавая вопросы.

— Ишь, разговорился! То слово из него не вытянешь, а тут не остановишь. Куда... — бабка Шура задумалась, а потом кивнула. — Дык это же... У души дядьки Еремея одна дорога — это птица, которая дятлом зовётся. Ну, ты видел этих дятлов, когда в лес ходили. Вот и Еремей привык по наковальне стучать, а помрёт, душа к дятлу отправится и опять-таки начнёт своим делом заниматься, как при жизни. Деревня, говоришь... Мы же привыкли работать, каждый день землице-матушке в пояс кланяемся. Вот и получается, что переберёмся в грачей. Ты видел грача. Такие важные весной ходят по полям. Тоже кланяются, корм добывают. Наши душеньки к ним отправятся, и опять начнём поклоны отбивать, как при жизни было. Что касается артистов... — бабка Шура поджала губы, нахмурила и без того морщинистый лоб, потом сказала: — Одни в соловьёв перебираются, другие — в дроздов, в общем, кто куда, а самые знаменитые и голосистые — эти в жаворонков. Ага... Ты, Алёшка, не гляди, что жаворонок — птичка-невеличка, зато её вон как с небес слышать. Звенит голосочек-то! И людям радость несёт, и к Боженке поближе. Поэтому говорю, что у каждого человека своя птица, у тебя тоже. Ага... — и утвердительно ткнула пальцем в потолок.

Алёшка долго молчал, видать, старался понять, о чём говорила бабака, потом спросил:

— Баб, а где твоя птичка? — и задумчиво поглядел на сухонькую бабу Шуру.

— Моя-то? — усмеялась баба Шура и поправила платок. — Я стану курочкой Рябой. Яички буду для тебя нести. Ты ж из избы не выйдешь, пока парочку не скушаешь, а с улицы возвернёшься — с пяток можешь умять за один присест, а то и поболее — глазом не моргнёшь. Наши курочки не успевают нестись для тебя. Хочу или не хочу, а придётся в несущку превращаться, чтобы ты с голодухи не помер, — и тоненько засмеялась.

Вслед за ней рассмеялся Алёшка, представляя бабу Шуру несущкой...

...Сегодня снесли бабу Шуру на мазарки. Остался лишь небольшой холмик и неуклюжий крест, да ещё веночек и маленькие буке-

тики ярких осенних цветов. Видать, в школьном саду сорвали. Соседки пришли проводить в последний путь бабку Шуру. Поплакали возле могилки, когда её опускали, а Алёшка стоял, смотрел на неё, а потом задирает голову, чтобы взглянуть на стаи птиц. Ему хотелось взмахнуть руками, взлететь и устремиться вслед за ними.

С кладбища все отправились в дом бабы Шуры. Тётка Зина с бабками щи сварила и лапшу, кто-то кутью приготовил, а баба Вера каши принесла. Откуда-то пироги на столе появились. Всё сделали соседи, чтобы проводить бабу Шуру и помянуть её. Недолго сидели за столом. Мужики стопки подняли, выпили.

Алёшка сидел в уголке, сгорбился. Глядел, как поминали, как едва слышно разговаривали. Потом стали расходиться. Две соседки остались – всё убрали, помыли и тоже ушли.

– Алёшка, – дверь распахнулась, и появилась тётка Зина. – Слышь, никуда не уходи. Дома сиди или во двор выйди. Я все дела переделаю, а потом за тобой приду. Пока у нас побудешь. Может, твоя тётка приедет. Телеграмму отбили. Ну, а не появится, тогда в интернете станешь жить. У себя не могу оставить. Извиняй! – она развела руками, поправила платок и ушла.

Алёшка остался один... Он долго сидел и смотрел в щелку между ставнями, а потом не выдержал, вышел на улицу.

Сегодня тепло. Алёшка вздохнул. Взглянул на солнце и прислушался. Яркий день и тишина на улице. Казалось, всё притихло в природе. Лишь берёзки золотом горят, а трава уж пожухла, прижалась к земле, прислонилась – зиму дожидается. Откуда-то донёсся запах дыма. Видать, старую ботву сжигают на огородах. Туманом стелется дымка, скрывая округу.

Тишина... Нет, издалека донеслись крики птиц, и сразу же душу сжало в кулак, тоска накатила, а вместе с ней непонятный восторг. Едва птицы показались в вышине, снова захотелось разбежаться, раскинув руки, взлететь и умчаться вслед за ними...

Алёшка встрепенулся. Оглянулся на дом. Показалось, баба Шура позвала. Взглянул и тут же поник. Так, закутавшись в куртку, и

притих. Солнце яркое, дымка плывёт по огородам, всё призрачно до синевы, а здесь холодно. И птицы покоя не дают. Кружат и кружат над головой. Видать, за собой зовут. Может, среди них и душа бабы Шуры. Алёшка задрал голову, стараясь рассмотреть птиц. Вот одна пошла вниз и закружилась над двором, словно присесть хотела, а потом, жалобно вскрикнув, помчалась вслед за стаей...

Алёшка окинул взглядом окрест. Дед Ефим, что напротив живёт, так и сидел возле двора. Видать, пригрелся. Хорошо ему. Задремал...

Алёшка зашёл в избу. Тишина в доме. Все звуки с улицы приглушены закрытыми ставнями. Тик-так, тик-так – качается маятник на старых часах в горнице. Алёшке казалось, что часы всегда здесь висели. Старые. Циферблат уж давно облез да потемнел, цифр на нём не видно, а маятник продолжает качаться, отсчитывая секунды жизни: тик-так, тик-так, тик...

Алёшке нравилось смотреть на маятник: усядется рядом, глядит на него, прислушивается к звукам и сам покачивается, как маятник. Так и сидел до тех пор, пока баба Шура не прогоняла. Сегодня вот бабу Шуру закопали, а часы всё тикают и тикают. И сколько они ещё будут работать – никто не знает, и Алёшка тоже...

Он стоял на пороге горницы, но дальше не проходил. Здесь темно, лишь редкие лучики солнца пробивались через закрытые ставни. Устойчивый запах воска, тлена, каких-то трав, тянет лекарством. Зеркало завешено, на телевизоре накидка, окна закрыты. Пусто в доме. Лишь на стенах несколько фотографий в рамках, и всё. Да ещё кошка промелькнула, припав к полу, и исчезла на кухоньке, скрывшись на печке. Под полом заскреблась мышь, и тут же пробежала кошка. Неслышно скользнула по горнице и опять скрылась.

Алёшка медленно подошёл к фотографиям. Баба Шура говорила, что это отец и мать, а он не помнил родителей. Так, что-то мелькало в голове и тут же исчезало. Алёшка взглянул на снимки. Отец хмуро и напряженно смотрел перед собой, а мать, наоборот, улыбалась.

А сегодня бабу Шуру закопали. Нет, её душа с птицами улетела...

Алёшка вышел из горницы. Потоптался в маленькой кухоньке и, присев в уголке, где всегда сидел, прислонился к обшарпанной стене. Опять мелькнула кошка, муркнула, а потом умолкла. Видать, тоже чует, что одни остались. Алёшка скрипнул табуреткой, взглянул на окно, закрытое ставнями. Сквозь узкую щель пробиваются последние лучи солнца...

Тихо в доме. Изредка осенняя муха зажужит, забьётся и притихнет. С улицы донеслось мычание коров — это стадо под окнами прошло, а вскоре затихло вдалеке, лишь редкий раз в проулках блеяли отбившиеся овечки да влаивали собаки — лениво так, словно напоминали, что службу свою несут, хозяйское добро стерегут.

Протарахтел мотоцикл. Видать, кто-то поехал кататься. Молодёжь собиралась в берёзовой рощице, что стояла на взгорке над рекой. Гуляли там до первых петухов: ребята показывали свою удаль, гоняя на мотоциклах, а те, кто постарше, парами расходились вдоль речки, находили укромные места и не смыкали глаз до рассвета...

Алёшка уже долго сидел на крыльце, дожидаясь, когда придёт тётка Зина. Прислушался: со стороны обрыва донёсся птичий гомон. Тоскливо стало на душе, и опять — тот непо-

нятный восторг. Алёшка не удержался: вскочил, неуклюже понёсся он по меже между огородами — бежал, размахивая руками, словно крыльями: в сумерках казалось — летит.

Выскочил на обрыв и закружился, защёлкал, засвистел, подзывая птиц. Взглянул ввысь, а небо над ним тёмно-синее, бездонное. Опять восторг и желание одно — взмыть ввысь! Алёшка вытянулся в струнку, взмахнул руками-крыльями и с обрыва шагнул в небо, — шагнул и закричал громко, пронзительно. Он летел над деревней, над лесами и полями, над реками, озёрами, и со всех сторон к нему присоединялись такие же люди с душою птиц. Клином они поднимались всё выше и выше, навстречу солнцу, и растворились наконец в его ослепительном свете.

А на деревню опустилась ночь...

□

### **Михаил Иванович СМИРНОВ**

*родился в 1958 году.*

*Автор книг «Поиски графских сокровищ»,*

*«Тайна старого подземелья», «По следам Ворона», «Неразлучники» и др.*

*Печатался в российских и зарубежных периодических изданиях.*

*Отмечен литературными премиями,*

*в числе которых премия «Филантроп»,*

*Национальная литературная премия «Золотое перо Руси» и др.*

*Лауреат Международного конкурса детской и юношеской*

*художественной и научно-популярной литературы*

*им. А.Н. Толстого.*

*Живёт в Салавате.*

